

# ЛИТЕРАТУРА

*Г.П. Козубовская*

## МИФОЛОГИЯ УСАДЬБЫ И «УСАДЕБНЫЙ ТЕКСТ» В ЭПИСТОЛЯРНОЙ ПРОЗЕ А. ФЕТА

Миф о Фете, упорно творимый им самим и поддержанный исследователями, столь прочно укоренившийся в русской культуре, наиболее полно реализуется в «усадебном тексте» эпистолярной прозы поэта. Усадьба для Фета, не имеющего ни состояния («... нуждаюсь в деньгах, как черт» [1]), ни прочного социального статуса (вынужденная служба в армии, адъютантство «служить вечным адъютантом хуже всякого худа», [2; 199], воспринимаются как пребывание в сумасшедшем доме, [2; 191], – реальная возможность материализации эстетического идеала, сотворение Дома-Космоса (в античном смысле), где человек – хозяин всех стихий [3].

Доусадебное бытие, совпавшее с молодостью, сводящейся, как заметил сам Фет, к «ложной, труженицкой, безотрадной жизни» [2; 154], осмысливается поэтом по аналогии с античным мифом о Сизифе. Характер оценки этого периода жизни колеблется между нейтральным, соответствующим оппозициям романтической модели («бледно-бесцельная жизнь»), и «жаргонным», основанным на «крепком словце» армейского лексикона, что получает пластическое выражение в устойчивом фразеологизме («собачий век»), в персонификации Доли («Нужда-стерва песенку поет» [2; 197], где «женская» ипостась и «ругательная» лексика – знаки определенного стиля мышления – анекдотами, бытующего в военной среде). В том же духе – словесный жест: «пуф» («...самая жизнь такой жалкий пуф, что не стоит о ней и хлопотать», [2; 196], основанный на звукообразности и обозначающий выстрел, повергающий в прах. «Пуф» более динамичный, по сравнению с глагольной формой, прежде всего в силу своей «бессмысленности» (как известно, Фет любил подобного рода обозначения), отсылает к военному коду [4].

Усадебная жизнь, осмысленная как космологизация бытия, связанная с обретением «центра земли», включает понятия «покоя», «цельности», «гармонии». Столь чаемый Фетом покой – антитеза «болтанию по омуту жизни» (так обозначается существование Ап. Григорьева, друга молодости, своеобразного зеркального двойника Фета, в этой паре реализуется близнечный миф) – возможен только при условии, пока невыполнимом: если б имел средства, бросил бы шататься черт знает где и нашел бы покой.

[2; 196]. Стремлением к цельности вполне объясняется тяга к общению, с трудом обретающая выражение в переписке – диалоге с отсутствующим («...видеть на земле поганой человека – есть вещь отрадная», [2; 193], которая часто принимает игровые формы. Таков, например, характер обращений в письмах к И. Введенскому («отвечай, дубина», [2; 188] и И. Борисову («шут ты этакий», «попугай фатьяновский», [2; 195] или розыгрыш мистификация страстного эпистолярного романа в письме к последнему накануне «комедии сватовства» («Спасибо, милая, хорошая моя, чернобровая, похожая на меня», [2; 200], где обращение к адресату как к любимой женщине отвечает духу «холостяцких пирушек» и «жесточкого романа»: «Вспомни, вспомни ты, злодейка, как мы с тобой, моя любезная, погуливали!!!», [2; 200]. Та же тяга прорывается в грустном размышлении об одиноком, неприкаянном, «осколочном бытии», не имеющем своего места на земле, неозначенном на карте земного шара [2; 199].

В дальнейшем жизнетворческое выстраивание судьбы – планирование ее в духе Пушкинских автопризнаний 30-х гг. («Мой идеал теперь хозяйка, да шей горшок, да сам большой») [5]: то же снятие романтического и замещение его прозаическим, но с глубинным трагическим подтекстом. После горест-

ной и невозполнимой утраты М. Лазич (дождался и утратил Женщину) Фет констатирует: «...ищу хозяйку, с которой буду жить, не понимая друг друга» [2; 199]. Но «пушкинское» есть выстраданное возвращение к первичным ценностям бытия, получившим почти фольклорное выражение, «фетовское» переигрывание «пушкинского», трезвое сознание будущего и готовность к тому, что «может быть, это будет еще хуже худого» [2; 199], сводящегося к «плачевной жизни», в которой остается всего лишь «засесть в деревне стричь овец и доживать свой век» [2; 199]. «Низовое» предельно утрируется в «комедии сватовства» с гипотетическим сюжетом пира - «хозяцкой еды» [6]. Херсонский локус ведет к гоголевскому восприятию мира с его неизбежным поглощением пищи (гоголевский код).

Незаземленность, неукорененность (отсутствие центра) на земле порождает определенный тип поведения. Именно с этим, на наш взгляд, связаны мистификации первых литературных публикаций: «Разумеется, я не подписал имяни (подчеркнуто нами с сохранением орфографии Фета Г.К.), и если спросят, то напиши – сочинил Сквозник-Мухановский, да и все тут», или «просто А.Ф.» [2; 187], а также и особый, утрированно-безграмотный, слог писем. Все это работает на создание маски не слишком образованного, незадачливого литератора-полудилетанта. Утрата буквы, редуцирование имени гоголевского персонажа создает подтекст, отсылая к фразе Городничего: «Над кем смеетесь?». Страх осмеяния в начинающем авторе – основной мотив в стремлении спрятаться за чужим именем. Гоголевский код – и в описании армейского ада («...лезут разные гоголевские Вии на глаза, да еще нужно улыбаться» [2; 191]. «Мушиное» в образовавшемся имени знак умаления себя как неприкаянного, не имеющего своего места на земле.

В доусадебном бытии двубытийности (мечта и действительность) соответствует двойной ракурс видения жизни: она либо неизбежное следствие «фантастических обстоятельств» («... я много кувырчался на своем веку» [2; 191], либо метафизической приро-

ды стихийных натур, таких, как, например, Ап. Григорьев. Погружение в грязь и мерзости жизни, однако, не лишило, с точки зрения А. Фета, того и другого «легкого дыхания» обязательного признака поэтических натур, сохранивших в себе чистоту, детскость, наивность, спрятанных, правда, глубоко, почти на самом дне души [7].

«Усадебный текст» А. Фета – реализация тезиса о том, что «у всякого есть местечко, куда его следует вставить, как в той растрепанной карте Америки» (см. воспоминания о детстве: [2; 199]. Усадебный мир творится Фетом по аналогии с Божественным актом созидания Вселенной по слову (библейский код в письме к Л. Толстому от 7 января 1878 г.), что иронически комментируется Фетом: «... из ничего» [2; 243]. Понятие «созидание» становится смыслообразительным в аналогии усадьба/русская Вселенная, где дворянское сословие оценивается негативно: для Фета это люди, «потерявшие винт» и потому проводящие жизнь в безделье, шатающиеся, не имеющие способность приложить к чему-либо руки и т. д. [8].

Прочность, укорененность пребывания в своем пространстве, где все приобретает другой смысл и дарует ощущение первозданности мира, гармонии человека и природы в одомашненном космосе – признак усадебного мироощущения: «Степановская луна смотрит в окно» [2; 215, 9]. Поэтому эпистолярные пейзажи Фета лиричны и интимны. Мифологема Дома обыгрывается в письмах писателей фетовского окружения: Ап. Григорьевым, который «рад» фетовской «Маниловке», И.С. Тургеневым, воспринимающим усадьбу как «дворянское гнездо, называя фетовскую «степным гнездом». Сам Фет созидание второй усадьбы объясняет бегством на окраину – в Воробьевку, процесс ее обустройства иронически уподобляя «строящемуся Вавилону». Созидание усадьбы для Фета далеко не Руссоистский проект, хотя отношение к самому акту сотворения у Фета неоднозначно: «... если мы, люди, не внесем туда нашей обычной чепухи, то Воробьевка останется тем, чем есть в сущности – раем земным, по климату, положению, растительности, тени и удобствам» [2; 316].

Таким образом, «первозданность» у Фета обязательно поверяется «культурой»: острота переживания находит параллели в культуре: «Степановкой доволен, не знаю лучшего Парижа» [2; 216], усадьба часто именуется Палестиной, раем и т.д. Свое усадебное житье-бытье Фет определяет так: «...тихо, чисто и удобно» [2; 201]. Усадебная жизнь Фета идет под знаком соображения, изложенного в письме к Л. Толстому: «...насколько человек делает мир, в котором живет, настолько и мир его делает» [4; 352].

В «усадебном тексте» Фета «органическое» осмысляется как «онтологическое», ощущение связи с землей («Я люблю землю, черную рассыпчатую землю, ту, которую я теперь рою и в которой я буду лежать», [2; 218], которой обусловлены «начала» и «концы» человеческой жизни, отличается подчеркнутой «физиологичностью». Усадебное бытие для Фета органично (он нарочито огрубляет, заземляет его, не дифференцируя «высокое» и «низкое» с традиционной, сугубо «эстетической», точки зрения) и мифологично. В этом «огрублении» – поиск истины выражения, это, с точки зрения Фета, и есть «язык, адекватный природе, язык органики, т. е. язык самой природы.

Согласно мифологической логике, в бытии равно все: «Нелепо при виде двух разнородных явлений спрашивать, что лучше: вода или трава, пленительная своими волосами Лилит или Ева, на которую книга Бытия прямо указывает как на помощницу» [10]. Ценность бытия измеряется полнотой переживания его органики («... можно слышать, как трава, ликуя, лезет из земли. Пчелы... так и распевают над головой...» [2; 241], радости бытия в единстве со всем миром, в мельчайшей его частице. Признание Фета, сделанное в письме к Л. Толстому в 1878 г. («...Никогда я не чувствовал такого, можно сказать, сибаритского довольства жизнью» [2; 241], и чуть позже (в 1880 г.) повторенное в письме к нему же: «...никогда, во всю жизнь, не жил так полно, так равномерно и довольно, как в настоящее время. моя жизнь теперь похожа на июльский закат солнца, когда оно и видней, и шире, чем днем» [2; 274], где «июль» – середина лета и

календарного года, «день» – середина суток, одним словом, по терминологии Фета, – «акме», в известном роде – самодостаточность), отсылает, с одной стороны, к физиологии дыхания, где вдох-выдох – ритм живого, с другой – к мифологеме «легкого дыхания» [11]. Вершиной слияния человека с природой поэт считает величайшую, как ему кажется выстраданную, способность понимания «великого вздоха природы» [2; 249], что доступно лишь «много жившим». Причем Фет вкладывает в это понимание именно «культурный опыт»: «Дети и мужики едва ли на это способны» [2; 249].

Семейная идиллия усадебного бытия держится ощущением «прозаического» как «поэтического»: «Каждый вечер я раскладываю пасьянс, Марья Петровна вяжет платок Пенелопы, а Анна Андреевна читает нам вслух» [2; 292], «Марья Петровна вяжет безмолвно на моем диване свой вечный платок Пенелопы» [2; 305, 12].

В «усадебном тексте» «метафизическое» просвечивает в «бытовом»: в мифологии усадьбы «вязание» и «чтение книг» обнаруживают свою судьбоносность и становятся знаками прикосновения к Вечному. Полнота переживания мига отвечает древнему принципу калокагатии.

Переживание красоты, по Фету, преодоление времени и «трудное восхождение»: не случайно, в объяснении законов восприятия опять появляется усадебные приметы метафорика еды и семантика дыхания: «Там, где одна самобытная красота догоняет другую, душа не может их глотать, как устрицы. Нужна передышка» [2; 292].

Времеборец Фет (по выражению А. Недоброво) в усадебном мироощущении обретает поведенческий стиль, который, с его точки зрения, наиболее соответствует представлениям о достоинстве человека, пребывающего на пороге жизни и смерти. Усадебное бытие располагает к занятиям философией и культурой, именно в этот период началась работа над переводами античных авторов, сопровождаемая размышлениями над Шопенгауэром. «Слепая воля» паук и «пуля» – человек – полярности философской парадигмы, несоизмеримость которых сви-

детельствует о неодолимости законов мироздания. Гедонистический финал как выражение вершинности бытия – единственно достойный для человека. Эпизод из мировой истории, связанный с дедом Фридриха Великого, который «за час до смерти раздавал своих заводских лошадей своим генералам и бранил их за дурной выбор» [2; 278], вызывает аналогию, на основе которой выстраивается гипотетический сюжет о своей смерти. Раздача даров на пороге жизни и смерти

бессознательно исполняемый древний ритуал, облегчающий, с точки зрения древнего мифологического сознания, переход в иной мир [13], и в то же время свидетельство неизменяемости человеческой природы. «Мелочи жизни», повседневные заботы – знаки материальности, удерживающие человека в этом мире, проявление гедонистического мироощущения, обретенного в усадебном бытии, своеобразное отсрочивание смерти, отнюдь не означающее позорного страха смерти: «...но ведь и солнце ее отсрочивает» [2; 278].

Лейтмотивом звучит в письмах Фета:

Боюсь мучительной жизни» [4; 420].

Кстати, печальный исход своего бездетного, безнаследного бытия Фет вновь иллюстрирует картинкой, в которой фигурирует конь: и приходится, как бракованной кляче, пасть на кругу топчача, который она ворочала своими ногами» [2; 336].

Выбранный эпизод хорошо вписывается в усадебную мифологию. Лошади, кони, скакуны и т. д. – естественная среда и в то же время вершина усадебного мира. Фет не без удовольствия говорит о гордости хозяина, которому удалось вывести оригинальную породу. Животное, обладающее природной грацией, красотой и изяществом, с точки зрения Фета, не лишено какой-то мудрости и знания «тайны жизни» (не случайно, именно «конь» в мифологиях – вестник из потустороннего мира и проводник в мир иной; в то же время символ поэтического вдохновения – Пегас; а любовь к лошадям – сродни артистизму). Соглашаясь с Лукрецием, переводом которого занимался, что именно любовь лежит в основе мира, Фет иллюстрирует это положение эпизодом из собственной жизни:

привезенный из Москвы рысистый вороной Адам, увидевший в первый раз в жизни четвероногую Еву, «взвился на дыбы, повалился наземь, два раза вздохнул и испустил дух» [2; 303]. Вновь очевидна отсылка к органике бытия, к семантике дыхания, оформляющей «усадебный текст». Кстати, сам Фет подчеркнул, что любовь к лошадям у него – нечто архетипическое: в детстве он наивно представлял себе части света (в частности, Африку) в виде столба, к которому привязан конь [2; 264]. «Кавалерийскую походку» Фета, его «короткий кавалерийский шаг» отмечают мемуаристы, в частности, И.С. Тургенев. Он же иронически называет деятельность Фета в качестве судьи, его «безобразничанья» – «удилозакусыванием». Так, отдельные эпизоды биографии оказываются увязанными «усадебным кодом».

В мифологии усадьбы полярности совмещаются; так, в одной плоскости сосуществуют «конь» («как прекрасное и полезное животное», по определению мужиков, см. [2; 243] и «муха» как непрекрасное и бесполезное. В фетовском «усадебном тексте», где толстовские романы – естественное продолжение материального бытия, всем управляет «несравненный Бог-мух» (Фет иронически «обыгрывает» романное пристрастие Л. Толстого к мухам: «Мухи приветствовали его (Н.Н., брата Л. Толстого – Г.К.) возвращение в Никольское» [4; 352]. Уравнивание всего со всем, провозглашенное самим Фетом в качестве мифологического принципа, иронически возводится к «индейской религии», которая «учит любить не только людей и скотов, но даже нечистых насекомых» [2; 256]. Этим же объясняется пристрастие к хтоническому, «нечистому», «непоэтическому».

Евангельский код – ключ к фетовскому пониманию скрываемого им драматизма сознания усадебного бытия. В позиции Марфы («Деревенская домашняя жизнь приучила меня быть Марфой», [4; 484], связанной с хозяйственными хлопотами, преобладает не любовь к земным благам, а потребность порядка, под которым понимаются как первичные ценности бытия, так и присущая миру целесообразность бытия, созданного Богом.

Привести в соответствие название предмета и его сущность представляется Фету недосягаемым; он жалуется на безалаберность, распушенность и равнодушие мужиков, не желающих просто хорошо делать свое дело.

Хаос русской жизни он идентифицирует с алогизмом как следствием элементарного невежества, ненаучности, лени, лукавого мудрствования, уподобляя Россию Улите, наплевавшей на свой идеал. Сознвая «неаристократичность» хозяйствования, Фет тем не менее подчеркивает неизбежность самостоятельного ведения дел в грубом пассаже, напоминающем жанровую сценку не любимых им писателей-натуралистов: «Но истинная мудрость иначе жить не может. Нельзя и мудрствовать, и бить до полусмерти некованую лошадь, стоящую с возом у горы, покрытой гололедицей» [4; 352]. Таким образом, «срывы», бегство от усадебного быта, от хозяйства объясняются, с одной стороны, тяжестью возложенного на себя бремени, от которого за 20 лет уже болят кости, с другой – приступами удручающей прозаичности («...несравненно отраднее издавать и переводить Овидия и великолепного Проперция, чем скрепя сердце браниться за отвратительную пахоту» [2; 301], поэтому ненавистному времени русской уборки предпочитается охота, и хочется удрать в город, спрятать, «хоть на время», подобно индюшке, «голову от коршуна будничных забот» [2; 301], «ускользнуть из мучительных когтей будничной жизни» [2; 335].

Усадебное бытие, укорененность в почве, мыслимые по аналогии с Космосом, порождают ассоциации усадьбы с космическим телом. Метафорика телесности – и есть проявление в усадебном тексте «заземленности». Деформация любого вида и свойства есть разрушение Красоты как определенной эстетической нормы, от которой страдает душа. Так, старение, болезни тела вызывают раздражение («...рука дрожит и ковыляет нестерпимо...» [2; 293], особенно если болезни сочетаются с неудачами фермерства («... я хворый и затравленный делами» [4; 411], отсылка к «охотничьему» коду, характеризующему жизнь в целом). Считая «виртуозность» (понятие, близкое «артистич-

ности», как высшее выражение мастерства акме) эстетической нормой («...а хромоты в жизни ненавижу» [2; 215], Фет иронизирует над собой: «...хотя сам хромаю на все копыта» [2; 215]. «Хромота» как ущербность, недостаточность в «усадебном тексте», отсылая, с одной стороны, к мифологии (Гефест – кузнец, подковывающий коней), с другой – к разрушающемуся хозяйству (неподкованная лошадь; Фет трезво констатирует удалось «поставить Воробьевку на хозяйственную ногу, пока хромую», [2; 244], становится знаком маргинальности. Болезни «отрывают» человека от реальной почвы, создают иллюзию жизни, что для Фета с его ощущением органики бытия непереносимо. Так, в «усадебном тексте» появляется охотничий код: «Это не жить, а держать жизнь за хвост» [2; 273].

Констатируя собственное раздвоение между двумя полюсам и необходимость в равной степени для себя хозяйствования и писания, Фет именно в этом видит свое родство с Л. Толстым [14]. Подчеркивая свою способность более других «переноситься в чужую шкуру», Фет, принимает Толстого целиком (в том числе и «с ожесточенным ловлением за ляжку барана...» [2; 224], настаивая на «онтологическом» смысле непозитивных занятий. Так, «творческое» для него «прорастает» в «будничном», являясь его продолжением, а смысл жизни раскрывается не в логике, а в наблюдениях над нею (что особенно ценит Фет в Толстом), поэтому «без яснополянской школы и прогулок по зимнему лесу не было бы Толстого с «лягушкой выдумкой твоей» [2; 224]. «Лягушка» – одно из безумств писателей, знак особого доверия и понимания, хтоническое животное, выражение органики бытия. Поэтому Фет так настойчиво зовет Толстого вернуться на писательскую стезю. В этом родстве-двойничестве Фета и Толстого (не случайно в письме к гр. Толстой Фет для обозначения этого использовал эмблематику российского герба – двуглавый орел [15]) кроется тайна отношений. Письма Толстого Фет расценивает как исцеляющие в ритме вдоха-выдоха – припадание к земле и взлет. Семантика дыхания, возникающая в самых «ударных»

моментах «усадебного текста», не случайная для этого текста, становится своеобразным «биографическим» кодом: как известно, Фет страдал болезнью легких.

Сад как вершина усадебного бытия центральная мифологема «усадебного текста», заключающая в себе целостное выражение цветения. Ему изоморфны поэзия и философия, которые, с точки зрения Фета (и в этом он совершенно согласен с Толстым), «не более, как роскошь жизни» [2; 229], составляющая оппозицию материальному труду. Но сад и спасительное пространство от многолюдства и человеческой глупости (Марья Петровна уводит туда особо докучных гостей). Огороженный Толстым «умственный сад русской литературы» требует «перелезания» через забор – «трудного восхождения», напряженного размышлениями над «вечными» вопросами жизни.

Позиция дилетанта, на которой часто настаивает Фет, создает условия для свободного творчества: хозяйственная деятельность нужна ему для того, чтоб была возможность из нее убежать в сочинительство, прятать свою голову от «коршуна будничных дел». «Сочинительство» дает сладостное ощущение наслаждения жизнью после тяжелого труда: «Ах, как хорошо быть сочинителем» [2; 215].

Понимание таланта («неизъяснимая прелесть таланта» [2; 220] у Фета глубоко органично, увязано с цветением как основным процессом органического усадебного бытия («...чистый цветок лотоса или хоть крапивы» [2; 220]). В этой позиции – проявление закона тождества бытия, характерного для мифологической логики, согласно которой «живое» и «неживое» уравниваются. И рядом с этим – уже в духе полемичного разрушения эстетики: ...у меня в мозгу опять Муза ...» [2; 214].

Помимо покоя и гармонии обязательных критериев усадебного бытия, в этот контекст включается счастье (точнее – «семейное счастье»); что особенно важно для Фета, сводящего земное бытие к «наслаждению в страдании», а «мир явлений» – к травле («... где вас с колыбели травят до могилы» [2; 241]; вновь охотничий код), злу, пожиранию,

боли. Причем прочность усадебного бытия увязывается именно с семейным счастьем; так, Фет предостерегает Толстого от скоропалительных выводов относительно Софьи Андреевны: а далее семейства счастье ходить не умеет, а на колесе своем оно вечно спотыкается» [2; 217], где «ковылянье» – метафора разрушающейся гармонии (ср. «семейная жизнь разбита параличом»).

Представления о семейной жизни органично вписываются в усадебное бытие: семейная жизнь уподоблена упряжке лошадей (Фет возвращает понятию «супружества» исконный смысл, восстанавливая этимологию слова – «упряжь»). В соотношении целое/часть несколько не умаляется значение единицы, хотя гармония целого и зависит от покорного движения в ногу [2; 293]. Семейное счастье, как и всякая гармония, держится единством несопадающих составляющих пару. Так, поясняя характер героини повести Л. Толстого «Семейное счастье», Фет отмечает ее неспособность быть счастливой, несмотря на утонченность («пустой орех» [2; 293], ибо она не имеет понятия о соизмеримости составляющих упряжку. Фет настаивает на самодостаточности каждого (аналогия из области искусства: Венера и Дискобол – «прекрасные по-своему»), допущение даже намек на сходство ведет к уродливому искажению Красоты. Фет подчеркивает ценность богом данного и неизменного этого в каждом («Каждому Бог дает свое и знает, что дать» [2; 267], при этом неценностным оказывается отсутствие самобытного («Беда, если он ничего не дает, кроме живой тени» [2; 267]).

Будучи горячим защитником именно «женского начала» в усадебном бытии, в частности, Софьи Андреевны Толстой, Фет с его способностью переселяться в чужие души, улавливать в человеке органичное, потаенное, изюминку, «логически» выводит ненормальность и абсурдность требований Толстого к жене: «Если бы Вы повторяли морально Софью Андреевну, Вы бы не были и тенью Льва Толстого, а повторяй она Вас, то в ее атмосфере и мухи бы умирали от ужаса» [2; 267]. «Умирание мух» – мушиный код – предел скуки (ср. с другим: «все бы умер-

ли, как мухи»). «Женское» у Фета ассоциируется с «природным»: «...прелестная женщина, точно вечерняя звезда между ветвями плакучей березы» [4; 359].

Оппозиция мужского/женского в «усадебном тексте» находит выражение в эстетике усадьбы, в частности, в противопоставлении города - деревне/усадьбе. При этом важно заметить, что брак осмыслен как своеобразное «довоплощение» женского идеала, его «достраивание». Фет, торжествуя свою победу над женой, сообщает Толстому: жена убедилась, что Минангуа, город и всяческое козырянье не нашего поля ягода» [2; 274]. Сознывая, что главный смысл усадебного бытия в гармоничном соответствии внешнего внутреннему, подобному античному, когда человек, соизмерявший самого себя с Космосом, приобретал музыкальную гармонию этого Космоса (гармонию и тела и души) [16], Фет внушает близким представление о настоящих ценностях, вполне соответствующих «природному» существованию: для него «... устройство парков, цветников, дорожек – созидание, дающее радость на все лето, дешевле ненужной моды» [2; 274], требующей выбрасывания денег.

Нарочитая депозитизация, подчеркивание «хтоничности» в усадебном бытии находится в противоречии с «женскими» представлениями, сугубо эстетизированными, утонченными, рафинированными, по Фету, «дворянскими» (в худшем смысле этого слова). В подобном жесте, столь часто повторяющемся в письмах к гр. Толстой, стремление вернуть собеседницу на грешную землю, обратиться к самой сердцевине жизни. «Приземленность» тождественна укорененности, прочности пребывания на земле, закрепление, «заземление» выражается в магическом заклинании: «...побольше навозу..., травы...» [2; 274]. «Достраивание», своеобразное усадебное учительствование (хотя, в отличие от Толстого, это совсем не свойственно Фету) проявляется в той неторопливой, неспешной, поистине эпической последовательности, с которой Фет «воспитывает» собственную жену и гр. Толстую, обращая их внимание не только на прекрасные, благовонные цветы, но и на их корни,

без которых нет жизни. По аналогии с этим метафорическим образом - поиск закономерности в истории культуры, когда за «грубой формой» скрывается «сильная страсть», не знающие утонченности проявления чувств «дикие люди», по мнению Фета, испытывали невероятные по силе страсти (напр., в античности Сапфо и т.д.). Умение видеть жизнь в единстве «верха» и «низа», в «хтоничности» и «эфирности» типично мужское качество, связанное с определенной долей безразличия к «эстетическому», способность «брать» жизнь широко, с эпическим размахом.

Женскую природу Фет «угадывает» в неброской, грустно-одухотворенной красоте берез и ив, являющихся для него символами русской духовности, сводя «женское» к интуитивному пониманию жизни – тип Наташи Ростовской, которая, по Толстому, «не удостаивает быть умной». Подчеркивая, что Софья Андреевна «слишком умна», он борется с брезгливостью «усадебных хозяек», которая идет от ума, уродливого дворянского воспитания, внушающего, что жизнь – это подобие дивертисмента в танце. Именно женщине доверена роль существа, завинчивающего главный, «серединный» винт в механизме человека. Еще в период женитьбы Толстого Фет указал ему на эту женскую функцию: «Вы давно стоите быть счастливым, и дай бог, чтобы нежная рука всадила в Ваш мозг... тот единственно слабый у Вас винт, который был у Вас шаток и не позволял всему отличному человеку гулять всецельно по свету» [2; 216], подчеркивая, что без женского влияния он не сможет жить.

Иная природа чувств определяет, по Фету, то, что именно женщине легче дается высказывание («...лежит-то чувство, а высказываться должен ум, и выходит тютчевское: «мысль изреченная есть ложь», [2; 299], женщины легче преодолевают пропасть между переживанием и словом, сохраняющим в себе жизнь. Сетуя на свое неумение выражать чувство, мертвеющее под скальпелем ножа-логоса, Фет не скупится на комплименты С.А. Толстой, письма которой напоминают «живые цветы».

Особенность женской природы состоит в том, что женщина органично вписывает себя в усадебный мир, в «дворянское гнездо». Хозяйка Марья Петровна – центр усадебного бытия, распорядительница усадебной жизни. Вращаясь вокруг собственной оси, в бесконечных заботах о других (от истолчения лекарства в ступе, до приготовления травяных отваров и лечения), перемежающихся с «непрерывно тянущимся потоком Пенелопино платка», придают смысл ее жизни, где самое прозаическое оборачивается поэтическим. Семантика круга – в основе семейного счастья. «Колесо счастья», «спицы», «вращение вокруг своей оси» – составляющие целого, гармоничного, покойного. В преодолении скуки, в ритме «плавания по течению» – своеобразии «женского» подхода к бытию; это не всегда доступно «мужскому», часто раздирающемуся между громадностью претензий и неспособностью их осуществить (так, Фет настраивает семейного Толстого на новую роль: уже не прапорщик, а отец семейства [2; 245]. Подчеркивая, что ему «нигде так не семейно и не тепло, как в Ясной Поляне», Фет указывает на определяющую роль в этом раю именно гр. Толстой: «Жена у Вас идеальная, чего хотите прибавьте в этот идеал, сахару, уксусу, соли, горчицы, перцу, амбре – все только испортишь» [4; 412]. Кулинарный код означает безусловность принятия такого рода супружество.

Судьбоносность женщины в усадебном мире обозначается в фетовском «усадебном тексте» двойным кодом: «пчелиным» (Софья Андреевна – «трудолюбивая пчела в ее шумливом улье», [2; 253] и «мушиным» (о ней же: без нее вы все пропали бы, как мухи осенью» [2; 253], оформляя оппозицию мертвого/живого [17].

В «усадебном тексте», где, согласно мифологическому мышлению, «все есть все, все во всем», художественное творчество как сугубо мужское занятие получает осмысление в мифологемах цветения, плетения, вязания. Увязывая сиюминутное с космическим, они превращают этот Космос в «усадебный текст». Так, одухотворяющее влияние писем Толстого на свою душу Фет выразил именно в этих образах: «Целые рои дум и ощущений

налетают от Ваших круглоспутанных букв на меня, и я счастлив, что могу беседовать с Вами» [2; 259]. Разговор письмами, собеседование, диалог, материализованный в тексте, осмысляется при помощи усадебной семантики – вязания, рукоделия; так оказывается снятой оппозиция женского/мужского. Так, романное творчество Толстого Фет уподобляет процессу вязания («...ловко подымает петли одну за другой»), предоставляя читателю «самому довязать чулок по собственной ноге» [2; 298].

Усадебное бытие Фет также соотносит с «распутыванием многих узлов» процессом, который мешает творчеству («... о блаженной минуте бегства из Воробьевки не смею еще мечтать», [2; 311, 18]). Рукоделие (вязание, плетение), сотворение, красота, комплекс, формирующий усадебный текст. Именно «женские» занятия, с их естественностью, непреднамеренностью, безусловностью и «сердечностью», ближе стоят к «тайне жизни», постижение которой происходит случайно, неожиданно и не дается логикой (см. эпизод с обезьянкой, [2; 296], т. е. «падают» в самую сердцевину жизни. Адекватным языком для выражения «тайного знания» в усадебном бытии может быть только «птичий язык» «язык галок», способностью понимать который обладают вполне только женщины и творческие натуры. Так, в мифологии усадьбы появляется чудовище Абракадабра, символизирующее жизнь. Бессмысленный набор звуков как нельзя лучше выражает смысл понятия – символа ускользающей жизни («без хвоста и головы» [2; 222]. Переписка Толстого с Фетом сводится к желанию «перекинуться словами безумия» [4, 328], «закурдялами» (шуточное название парадоксов Фета Толстым [19]).

«Птичье» в мифологии Фета синоним «журавлиного», являющегося ключом к усадебному тексту. «Журавлиный эпизод», рассказанный в письме, сердцевина бытия. Журавль на монастырском дворе, вспорхнувший вслед за брошенным платком и исполнивший замечательный танец, - для Фета стал аналогом скрытого поэтического, метафорическим выражением полета души, знаком отпущенного Богом этой душе. Поэтому



в Толстом он ценит умение «писать по-журавлиному» («непонятное для себя, но истинное», [2; 277], т.е. «органично». Эта же метафора входит в понятие семейной гармонии: принцип Фета – существовать, не мешая друг другу, никого не перетаскивая в свою «журавлиную веру» [2; 280].

Понятие «безусловного» входит в усладебное мировоззрение: безусловна Красота, которой ничего не нужно доказывать, «стоит только войти, и все кругом засияет» [2; 304], космостроительная роль женщины-хозяйки, супруги; безусловна вера, которая «не сидит в доме на чердаке, как заблудшая чужая кошка» [2; 239], безусловен творческий порыв («...это точно вырвавшийся с варка чистокровный годовик, который и косится на вас агатовым глазом, и скачет, молниеносно лягаясь, и становится на дыбы, и вот-вот готов, как птица, перенестись через двухаршинный забор» [2; 310]. «Безусловное» и лежит в основе фетовского представления о мифе: ...принять миф за реальность... [2; 265], составляющего оппозицию силлогизму, который неприемлем уже потому, что, по словам самого Фета, его им «хотят оседлать».

«Безумие» как центральный нерв поэта-«дурака» (Фет не боится подобного «снижения») становится критерием в процессе «дегустации» поэзии. В письмах к Я.П. Полонскому лейтмотивом звучит мотив опьянения («... непосредственная целебная струя твоего освежающего и опьяняющего вдохновения...» [2; 345]; « При чтении таких стихотворений – и пьяных и художественно-резвых в то же время – уже чувствуешь потребность не обнимать и целовать тебя, а кусать и шипать» [2; 346]. «Винный» код [20] – в описании собственной творческой биографии: «Каждый раз, когда напишу стихотворение, мне кажется, что это гробовая доска музыки а помню только время и чувство, что стихам не может быть конца, стоит только поболтать бутылку, и она взорвет пробку» [2; 260]. «Отлет души на седьмое небо» - критерий «глубины пахоты» художественного творчества.

### Библиографический список

1. Фет А.А. Соч.: В 2 т. Т. 1. М. 1982.
2. Фет А.А. Соч.: В 2 т. Т. 2. – М., – 1982.
3. См. подробнее: Козубовская Г.П. Поэзия А. Фета и мифология. – М.-Барнаул: 1991. – С. 103-104.
4. Переписка Л. Толстого с писателями: В 2 т. Т.1. М. 1978. – С. 352.
5. Цитируется по: Пушкин А.С. Соч.: В 10 т. – М. 1957. С. 203.
6. Там же. Письмо к И. Борису. – С. 200.
7. Там же. Воспоминание о детстве с его ароматами в письме к И. Борису, где лирический пассаж заканчивается весьма характерным для доусладебного бытия *pointe*: «шаршивая молодость» [2; 198].
8. См. там же размышления о дворянстве в других письмах.
9. См. переключки с поэзией в: Козубовская Г.П. Указ. соч. – С. 57-61.
10. Встречное движение человека навстречу природе и наоборот, обнажающее «природность» человека и «очеловеченность» природы (Н.Н.Скатов) – в основе мифологии Фета.
11. «Дыхание» и «запахи» – мера органичности художественного мира, см. отзыв о «Казаках» Л. Толстого: ...дыхание леса... [2; 220] или аура близкого по взглядам писателя:дохнул бы Вашим воздухом...» [4; 453], «...пахнуло Ясной Поляной...» [4; 484].
12. См. подробнее о мифологеме платка Пенелопы в: Козубовская Г.П. Указ. соч. – С. 185-186.
13. См. подробнее о ритуале: Топоров В.Н. Конные состязания на похоронах // Исследования в области балто-славянской духовной культуры: погребальный обряд. М. 1990.
14. См. замечание Толстого, в котором «писательство» намеренно сводится к «дилетантству»: «Что ни делай, а между навозом и короной нет-нет да и возьмешь и сочинишь» [4; 332].
15. Фет подчеркнул, что смысл жизни заключается в ее полярностях: «Вы говорите, что жизнь бездна премудрости, а я говорю, что жизнь бездна несообразной чепухи, и мы оба правы» [4; 419].
16. Аверинцев С.С. Вст. Статья // Идеи эстетического воспитания: В 2 т. – Т. 1. – М., 1973.
17. Так, Фет признается, что письма Бржеской, «одинокого товарища юности» «роят» в нем «давно прошедшее» [2; 260].
18. См. подобное у Толстого: «Целую руку Марье Петровне и прошу в случае затруднения разрешать их на манер гордиевых узлов, поженски» [4, 342].
19. См. примечания к переписке Фета и Толстого [4; 333].
20. См. подробнее о «винном» коде: Мотив вина в литературе. Литературный текст: проблемы интерпретации и методологии. Тверь, 2002.